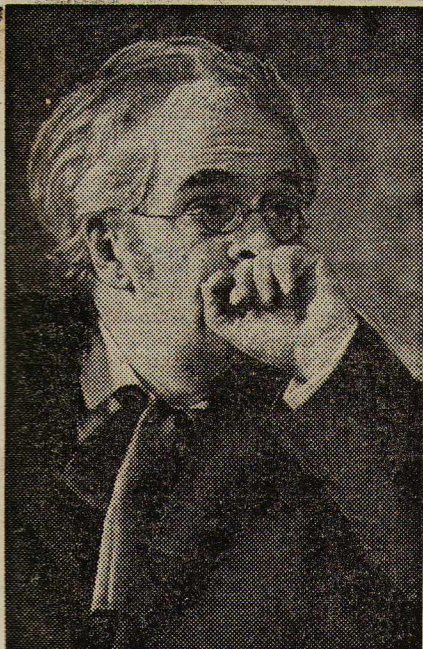


актеры и роли



МАКСИМ ШТРАУХ ИГРАЕТ НАРОКОВА

М. КНЕБЕЛЬ, народная артистка РСФСР

Исполнилось 70 лет замечательному советскому артисту М. М. Штрауху. «Неделя» сердечно приветствует Максима Максимовича, нашего друга, человека щедрого таланта.

Мы с МАКСИМОМ Максимовичем Штраухом почти однолетки в искусстве. Жизнь свою в театре мы оба прожили в Москве, прожили ее напряженно и интересно. Нашему творческому становлению помогали разные учителя, разные театральные коллективы. М. Штраух был связан тесной творческой дружбой с С. Эйзенштейном. Их учителем был Вс. Мейерхольд. Моя жизнь протекала в стенах МХАТа. Но, несмотря на кажущуюся разность эстетической платформы, меня очень многое привлекало в Штраухе. Он всегда был одним из самых любимых мною актеров.

Я люблю в нем ту интеллектуальность, которая является, может быть, самой яркой чертой современного актера. Я помню ряд его прекрасных ролей и в театре, и в кино... И всегда, помимо непосредственной радости от встречи с ним в разных ролях, мне всегда думалось: а как работает Штраух?

Я из зрительного зала горячо аплодировала ему, но его творческая «кухня» была закрыта для меня. Я видела только результат его работы. Это было всегда оригинально, неожиданно, умно.

И вот меня пригласили ставить «Таланты и поклонники» в театре им. Маяковского. Нарок — Штраух!

На первой же репетиции Штраух пора-

зил меня и Н. Звереву (моего сопостановщика) скрупулезным анализом роли. Он шел по каким-то глубоким, крупным пластам. Опуская второстепенное, сразу нащупывал главное. Ясно было, что он, не дожидаясь наших встреч, уже погрузился в материал пьесы, роли.

Первая сцена Нарокова с Домной Пантелевной (В. Орлова) очень трудная. Она экспозиционная, большая. Держа текст роли, близоруко вглядываясь в него, Штраух чутко определял суть, намечал последовательность действий, что-то отмечал в тетради. «Так, один пласт сознания, — говорил он. — Теперь перейдем к другому». Лексика чужая, думалось мне. Но я никогда не пыталась навязывать актерам свою лексику.

Работали мы в комнате. Стояла выгородка, мебель, реквизит (все было подготовлено для первого этюда).

— Шляпа, шляпа мне нужна, — обратился Штраух к помрежу.

Пока ходили за шляпой, Максим Максимович обошел выгородку, чтоб ориентироваться, где дверь, откуда входит, куда уходит. Где какой стоит стол и стул.

Исследовал он «посадочную площадку» необычайно точно. Попросил дать ему роль, которую он приносил Негиной, перевязал роль ленточкой (это задано Островским).

Сыграл Штраух этюд превосходно! Свободно, спокойно, уверенно. Ему была ясна позиция Нарокова, и он приводел один за другим веские, убедительные доводы за право любить искусство и отдавать ему жизнь. Меня поразило, что Максим Максимович, не зная слов, твердо знает историю нароковской жизни, знает ее досконально, поэтому рассказ о себе в этюде сложности для него не представлял.

— Вам, наверное, часто приходилось делать этюды? — спросила я.

— Нет, делаю первый раз в жизни.

— А у Мейерхольда, у Эйзенштейна не делали?

— Нет, там была высшая математика...

Готовили постановку зимой. В театре было холодно. Максим Максимович репетировал в пальто. Когда я приходила в зрительный зал, то всегда заставляла его сидящим на сцене около суфлера. Он проверял текст. Интересно было наблюдать, как он внимательно слушает поправки суфлера, как послушно повторяет за ним слова, фразы, уточняет синтаксис...

Так же бережно, как к слову, Штраух относился и к вещи. Она становилась для него живой. Помню случай, который поразила меня. В нем сказались и непосредственность, и математически точный расчет. Репетировалась сцена князя Дулебова (К. Кириллов) и Негиной (М. Яблонская).

Кирилловский Дулебов, объясняясь в любви, от охватившего волнения взял со стола негинскую роль, развязал ленточку и стал автоматически накручивать ее на пальцы. Приспособление это возникло в процессе репетиции, может быть, оно родилось подсознательно. Оно было выразительным и естественным для Дулебова.

Штраух сидел в зале. Как только Кириллов завертел ленточкой, Максим Максимович подошел ко мне. Взволнованным шепотом он стал о чем-то говорить. Но, почувствовав, что помешал, отошел. Кончив репетировать, я обратилась к Штрауху: что случилось? Волнение Максима Максимовича не улеглось. Он стал говорить о том, что его глубоко задело обращение Дулебова с негинской ролью. Претензии его были обращены главным образом к Негиной: «Ведь она должна понимать, с какой любовью я переписывал для нее роль, как перевязывал ее!»

Я смотрела на его такого странного серо-зеленого цвета взволнованные глаза и думала: только настоящий актер способен так остро реагировать на такой, казалось бы, пустяк. Но это пустяк для актеров, не умеющих поверить в подлинность всего происходящего. Штраух же верит, поэтому любую деталь, пусть она возникнет даже в сцене, где он не присутствует, он воспринимает так, как воспринял бы ее Нарок в жизни. В таком остром восприятии сказались не только непосредственность Штрауха. Сказались и прекрасное мышление художника — строителя своей роли. Вещь, к которой прикасаются руки, не может быть ничейной. В данном случае она принадлежит Нарок. Штраух хотел, чтобы зрители поняли через отношение к вещи, как Негина относится к нему.

Интересно он осваивал стихи Тютчева, которые, как мне казалось, расширяют эмоционально его роль.

«Опять — на выбор?» — спрашивал он с довольной улыбкой. На следующий же день он уже был готов к пробе.

«Что лучше? Это? Или, может быть, это?» — И Штраух читал стихи, а мы понимали, что он уже как-то приспособил их к душе Нарокова.

После бенефиса Негиной Нарок приносил ей подарок — он переписал для нее стихи и обкадил их рисунком. «Вот видишь, — говорит он Домне Пантелевне, — бордюрик; незабудки, анютины глазки, васильки, колосья. Видишь вот: пчелка сидит, бабочка летает... Я целую неделю рисовал».

«Коварное место, — говорил Штраух. — Может потянуть на санимент» — говорил он, разломачивая свои мягкие седые волосы. А потом смущенно и радостно смеясь, не дотрагиваясь до груди, а как-то трепеща перед ней руками, продолжал: «А тут чувства молодые, свежие, юношеские».

«Так ты бы сам и отдал», — говорит она ему.

Штраух совсем законфузился, засмущался. «Стыдно. Вот смотри!» — говорит он, разломачивая свои мягкие седые волосы. А потом смущенно и радостно смеясь, не дотрагиваясь до груди, а как-то трепеща перед ней руками, продолжал: «А тут чувства молодые, свежие, юношеские».

Он поделился своей затаенной, глубокой радостью. Ведь любить, не ожидая взаимности, тоже радость. Такой любви не надо стыдиться. И Штраух спокойно, не спеша берет стул, легко взбирается на него и, глядя куда-то вдаль, говорит:

Как часто, грустными мечтами
Томимый, на тебя гляжу,
И взор туманится слезами...
Зачем? Что общего меж нами?
Ты жить идешь — я ухожу.

Перед нами Нарок, чистый, цельный, чуть старомодный. Штраух делает странные ударения в первой строчке на «грустные», в третьей — на «туманится». И эта странность ударений, и необычайно своеобразный тембр голоса, вся его фигура, нелепо стоящая посреди комнаты на стуле, — все говорит о том, что Нарок тоже один из загубленных талантов.

Максиму Максимовичу хотелось сделать большую паузу после чтения стихов. «Я слезу, — говорил он, — сяду и буду долго надевать ботинки. Хорошо? Ведь не встану же я на стул в ботинках? Эта пауза может стать валютой». Штраух не раз употреблял это выражение. Он очень ценит длинный мизансценный ход, удачное приспособление, музыку, «удобно» возникающую на тексте.

Штраух оказался прав. Зрители слушают и неизменно награждают Максима Максимовича горячими аплодисментами в мгновения, когда, сойдя со стула, он, как бы забыв обо всем, машинально говорит тючевское «Я ухожу», а потом, очнувшись, вкладывает в эту же фразу уже простой жизненный, а не поэтический смысл.

Еще сильнее он «берет зал» в сцене прощания с Негиной. Он играет эту сцену прекрасно. Отъезд Негиной трагичен для него. Разлука с ней разрывает его сердце. Он не хочет сдерживать своих чувств, Он должен, обязан сказать ей все, чем полна душа, мозг, сердце. Сказать здесь, вслух, на глазах у людей, виновных в ее бегстве.

И вот наступает момент его прощального тоста. Гневно звучат его слова, направленные против «брюхимовского общества», с огромной внутренней силой он говорит с Негиной. Штрауховский Нарок собирает все силы души, чтобы до сердца Негиной дошла его бесконечная вера в нее: «У вас есть талант, берегите его, растите его! Талант — есть лучшее богатство, лучшее счастье человека!»

Кажется, что все силы исчерпаны. Сказано все самое главное. Осталось проститься, встать перед Александрой Николаевной на колени, прильнуть губами к ее руке...

И это позади. Штраух тяжело поднимается и быстро уходит, пытается спрятать слезы. Но в последнее мгновение он оборачивается. Он хочет что-то досказать:

Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

Штраух не в силах сдержать рыданий, И он рыдает глухо, отчаянно...

Мне нравится сидеть в зрительном зале и следить, как Штраух играет Нарокова...

Фото М. Чернова.